

# В. В. Маяковский: сердце, полное любви к Ильичу

СУМЕРЕЧНУЮ осеннюю тишину в московской квартире Колыцова хрупо взламывает телефонный звонок. Знакомый козырек накатывает бас упруго пуширует в трубку. Привет и тысячу извинений Елизавете Николаевне. Нет дома самого Колычека? Просьба передать Микхану Ефимовичу, когда придет: его разыскивает Маяковский. Если у Колыцова будет что срочное для Маяковского — понятно? — сразу передать об этом в любое время на Красную Пресню сестрам, маме... Что срочное? Ленин приехал из Горьк, был в своем кабинете...

Может, случится сговоренно, если действительно Ильич возвращается, если доктор вдруг снял запреты... Откуда было знать поэту, что внезапное появление Ленина в Кремле случилось как раз вопреки всему. Истощенный пятидесятилетним «сидением» в Горках Владимира Ильича нестерпимо потянуло в Москву. Врачи и родные отговаривали всячески. Не добившись согласия, Владимир Ильич «забастовал»: однажды перед вечером отправился в гараж, сел в машину: едем, мол, и никаки.

Хотелось лишь тоску снять, взглянув к себе ненароком, а вышло волнительное прощание с Москвой. Перед седым Кремлем снял кепку. Зашел в Совнарком, задержался в своем рабочем кабинете, постоял в раздумье, будто выслушивая эхо кипучих своих дней. Дома занялся разборкой тетрадей, кое-что отложил взять с собой... А на другой день затормозился в Горки. Рядом с работой и без дела — еще тяжелее. По Москве же пошел разговор о возвращении. И взбудоражил Маяковского.

С весны 23-го, когда в солнечной капели мрачной тенью повисла людская тревога о здоровье Ильича, когда прямо на улице знакомые и незнакомые сообщали друг другу последние данные медицинских бюллетеней: «пульс — 108, дыхание — 30»... — тогда уже Владимир

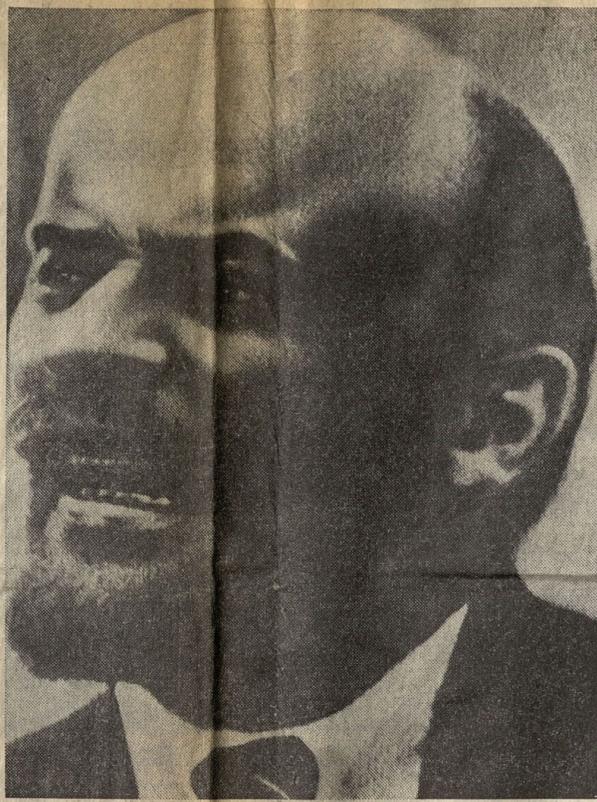
кам: «Самый матерый реалист. От природы ни на шаг. И чертовски увлечен характер».

Наконец, среди друзей Владимира Ильича и Владимира Владимировича могут быть названы имена тех, кто самым естественным образом постоянно сближает их. Анатолий Васильевич Луначарский, перед эрудицией и дарованиями которого они оба преклоняются. Алексей Максимович Горький, беспредельно дорогой человечине, который берedit душу каждого своим родниковым художническим словом.

А главное — их объединяет революция!

ВПОЛНЕ объяснимо — мог не знать Владимир Ильич, что еще до того, как сложить «первое полустихотворение», до того, как обнаружить в себе искру поэтического дара, четырнадцатилетний Маяковский был воспламенен искрой большевизма. «Анти-Дюринг» под партой на гимназических занятиях. «Предисловие» Маркса — сжатый, как адропланеты, политэкономический этюд, увлекающий сильнее даже славных произведений искусства. Экономно зарезанная до букв, синенькая ленинская брошюрка «Две тактики», на косточки раскладывающая социал-демократических хвостиков.

В те самые начальные недели оглушенного реакцией 1908 года, когда Владимир Ильич, обуждая с Горьким характер борьбы с политическим упадничеством, ренегатством и нитьем, отмечает, что интеллигенция бежит из партии (и пусть, мол, бежит — партия очищается от мешанского сора), именно в это время будущий великий социалистический поэт вступает в ряды московских большевиков. Нареченный «товарищем Константином», он работает рядом с такими славными большевистскими легионерами, как Загорский, Сидоров, Ломов. Он самоотверженно углубляется в подполье, пропагандирует среди рабочих, а если уж и



лучается что-то вроде государственного эталона нового искусства (собственно, автором и задумывалось некое произведение всех для всех. «Конец! Сто пятьдесят миллионов»). Печатаю без фамилии. Хочу, чтобы каждый дописывал и лучше. Этого не делали, зато фамилию знали все». И Ленин не стал этого делать, он только острее почувствовал, что «лучше» необходимо всю коммунистическую работу на культурном фронте.

Прочитав поэму, расстроился и рассердился. Опять нигилистические выпады против классики, опять призывы пустить по ветру «культуры конфекты». Опять эта ни с чем не соотносимая претензия поставить над социалистической народной культурой какое-то нелепое «комфутство». И не только над культурой. Заявляли же комфуты громко: «Футуризм не только художественное движение, это целое мировоззрение, лишь базирующееся на коммунизме, но в итоге оставляющее его как культуру позади...» И не где-нибудь заявляли, а в издании Наркомпроса. Беда не в неудачных поэтических экспериментах, а в настоячиво насаждаемой ошибочной линии, тем более вредной, что она маскируется государственным учреждением, выдается за государственную установку.

Заприметив на ближайшем же заседании А. В. Луначарского, Владимир Ильич атакует его сердитой запиской: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского в 5000 экз.?

Взор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотеки и для чудаков.

А Луначарского возмущает футуризм. Листок тут же возвращается с объяснением на обороте. Мне, мол, эта вещь самому не нравится, уверяет Анатолий Васильевич; а вот Брюсов-де восхищался, и у рабочих автор при чтении

бизма и прочих «измов» высшим проявлением человеческого гения. Он не понимает их, не испытывает от них никакой радости...

Они с Кларой наперебой подтрунивали над своей старомодностью и от души хохотали, пересказывая возникшие в памяти «шедевры» ирреального искусства.

Важно не наше мнение об искусстве, — со значением подожди Владимира Ильича, — важно также не то, что дает оно избранному кругу лиц. Это — особая человеческая ценность. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам, оно должно быть любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их...

Вот эту великую аудиторию рабочих и крестьян, самую достойную и благодарную, надо представить себе каждому художнику, когда он берется за кисть или перо. Искусство надо еще приблизить к народу, а народ к искусству. Для этого нужно сначала поднять общий образовательный и культурный уровень, не щадя сил, сберегая на просвещение каждую копейку. Можно не сомневаться, Владимир Ильич знает цену представительной демонстрации творческих достижений, но ему лично больше по душе две-три школы в захолустных деревнях, чем самый великолепный экспонат на выставке.

Можно, конечно, поспорить и о правомерности массовых зрелищ. Но пусть их — не станем возражать! Однако не будем и забывать: зрелище — не настоящее большое искусство, а наши рабочие и крестьяне не римский люмпен-пролетариат; не их содержит на государственный счет, а они сами содержат государство. Право, наши рабочие и крестьяне заслужили больше,

# С ОГРОМНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРАВДОЙ

Маяковский почувствовал: ему совершенно необходима хоть коротенькая встреча для разговора с товарищем Лениным. Появляясь у правдивого, отыскивает друзей, просит помочь, тербит Колыцова: Марию Ильиничну не видели? Не появлялась, не приезжала, не говорила с ней? Как увидите — передайте: поэт Маяковский просит записать его на прием, когда Владимир Ильич поправится и будет принимать сограждан... Так и скажите. Понятно? Или лучше письмо Марии Ильиничне написать?..

И однажды Маяковский, то хмурясь, то улыбаясь, услышит ответные слова: «Владимир Ильич нашел бы время, конечно, пообщаться с поэтом Маяковским. Разве сомневаетесь в этом? Прошу вас, скажите товарищу Маяковскому, передайте, что... мы надеемся... Скажите — мы надеемся».

Надеется и Маяковский. У него доверительный разговор с Ильичом о жизни, о себе и, может быть, о будущей поэме. Главное — ему абсолютно необходимо быть понятым Владимиром Ильичем. Конечно, встреча могла бы состояться раньше, но случались только заочные соприкосновения...

ПЕРВОЕ из них произошло вскоре после переезда в Москву Советского правительства.

В Митрофаньевском зале Кремля устраивался вечер с концертом для красноармейцев. Настойчиво приглашали Предсовнарком. И хотя рабочий день в Кремле никогда не кончался, и хотя концерты популяризации своими сурпризами, надо было выкроить часок — пойти ради красноармейцев. Встретили радостно, усадили в первом ряду, можно сказать, лицом к лицу с «новым искусством». Сюрпризы концерт не изобиловали, только босоногая танцовщица воинственно скакала со своими питомцами взад-вперед и наступала грозно с флагом в руках на первые ряды. А потом — декламация. Сначала Ольга Гвозская покорила пушкинскими стихами, а потом двинулась в атаку угловатыми строфами. «Дней был лег. Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наш барабан...». Притиснутый в кресло этим напором, Владимир Ильич, скрепя руки на груди, оборонялся недоумевающей улыбкой.

После концерта, когда артисты заставляли на чай в соседнюю комнату, пытался выяснить у Гвозской: что это она читала после Пушкина и отчего выбрала это стихотворение, странный набор слов... Это стихотворение Маяковского, пояснила актриса, он обычно сам читает, но мне, мол, доверил исполнить... Давал ей собственные уроки декламации, акцентировки, понимания динамики. Теперь она сама может многое объяснить. Взять прочитанный «Наш марш»... Владимир Ильич примирительным жестом подталкивает: не спорю — и подьем, и задор, и призыв, и бодрость, все это передается. Но все-таки Пушкин мне нравится больше, читайте чаще Пушкина...

Чувство настороженности и протеста захватывало Владимира Ильича всякий раз, когда он наталкивался на претензии от самоувереннейших реформаторов от искусства, коих народившийся век будто выдалывал из всех своих изломов. Какие теперь сорные «измовы» заполняют ниву искусства? На что еще покушаются новоявленные Карлштадты? Попытки новаторства вне преемственной связи с могучими реалистическими традициями грозят не иначе как разрывом в живой ткани национальной культуры. Откровение говоря, смелых новаторов можно заподозрить и в недоученности. Ведь кто успел прочесть Пушкина, успел и полюбить его...

Владимир Ильичу было бы крайне удивительно узнать тогда, при первом соприкосновении с Маяковским, что этот апостол футуризма «в желтой кофте из трех аршин заката» может часами наизусть читать «Евгения Онегина»; что с детских лет он читает самые светлые чувства к музе Некрасова; что знаменитый роман Чернышевского, некогда «переплахавший» самого Ильича, для поэта стал «книгой из изголовья»... А в музыке? Среди стойких музыкальных симпатий поэта — сонаты Бетховена, включая «Аппассионаату», «Революционный этюд» Шопена, романсы Римского-Корсакова, предлодии Рахманинова...

Уже создав первые крупные поэтические полотно, поэт мечтает, чтобы в его трагедиях пел Шалапин. Он счастливо светлеет, услышав от Репина самую щедрую его фразу: «Хочу написать ваш портрет, приходите ко мне в мастерскую» или похвалу своим рисун-

попадает в засаду, то не задумываясь, может съест блокнот «с адресами и в переплете». Уже тогда капиталистический нос учует в нем «динамитчика» — последует Сушевская часть, затем одиночка в Бутырках...

Между прочим, в Бутырках сложилась первая поэтическая тетрадь. «Вышло ходульно и ревлакливо», — иронически заметит потом беспощадный к своему творчеству поэт. — Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то бы еще напечатал! Однако тут важна сама по себе истина о происхождении музыки. Можно сказать, она вскормлена терпким бунтарским молоком. Падение короны, пьянящий свободой Февраль властно приблизил его к самому историческому горнилу. Он увидит себя не столько «певцом», сколько «хроникером», «чернорабочим» революции.

Наивным упрощенчеством было бы, конечно, представлять себе некое механистическое вживание поэта в ткань революции. По мысли Луначарского, умевшего не только горячо влюбляться в таланты, но и зорко наблюдать их, революция поначалу представлялась Маяковскому как некое расплывчатое огромное благо, которое он затруднился бы четко определить. И вот, встретив на своем жизненном пути такие гигантские явления, как пролетариат, Октябрьская революция, Ленин, просмотревшись к ним, начинает он все явственнее видеть: да ведь тут-то все место, да ведь это и есть то, что я жажду.

Луначарский не сравнивает Маяковского с другим великим поэтом времени — Александром Блоком, но произносит сакраментальную, определяющую значения фразу: «Блок проходит мимо Ленина». Из записной книжки поэта почеркнуто признание его социальной близорукости. Почему в «Двенадцати» перед взметенными революцией идет Христос? «Дело не в том, «достойны ли они его», — рассуждает Блок, — а страшно то, что он с ними, и другого пока нет; а надо Другого...» Анатолий Васильевич убежден, что Блок «посмотрел бы испуганными, изумленными глазами, если бы ему сказали, что этот Другой уже живет на свете, что это — великий учитель и вождь пролетариата, реальный человек и в то же время подлинное воплощение самых могучих идей, какие когда-либо развивались на земле и перед которыми христианский лепет является жалкой старинкой; что это тот самый В. И. Ленин, которого он, может быть, когда-нибудь встречал на собраниях или на улице...»

На этом-то контрасте явственно проступает социальная окрашенность таланта Маяковского, его революционная интуиция, преобразовательское мышление. Поэтический зрением он видит: «Над миром вырос Ленин огромной головой», сознавая, что «земли сели на ось», он веру мира и веру свою соединяет в манифесте служения идеалу.

О Маяковском как-то зашел у Владимира Ильича разговор с Горьким. Трудно, мол, читать, рассыпано все... Даже резко сказал: «Кричит, выдуывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему...» Алексей Максимович запротестовал. Вот лет уж пять, как он знает этого одаренного парня и не нарадуется добрым переменам. Заприметил его еще в первом выводе российских футуристов, когда зимой 15-го ходил слушать их в «Бродячую собаку». Как и Ильичу, тоже покатилось: кричит Маяковский кривые слова. «Зря разоряется по пустякам», — сказал тогда, выходя из подвала, но решил познакомиться с поэтом, почитать кое-что. А почитав, смог отделить зерно от плевела. «Возьмите для примера Маяковского», — писал в «Журнале журналов», — он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи...» Потом Маяковский заглянул на дачу в Мустаевки со своим «облаком» и растергал. Чем больше вслушиваясь, вчитываясь, тем больше свежести улавливался.

Владимир Ильич не отступает тотчас перед горьковскими аргументами, но не без удивления переспрашивает: «Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим».

СЛУЧАЙ, конечно, представился. И не раз...

На исходе четвертой послеоктябрьской зимы довелось Владимиру Ильичу заглянуть в популярный ВХУТЕМАС — наведшись с Надеждой Константиновной младшенькую из дочерей Инессы Федоровны Арманд — Варю. В училище только закончилось собрание учейки, и



чуть ли не все скопом явились на «женскую половину» общестки, сгрудились вокруг гостей, ораторствуют наперебой. Владимир Ильич сам виноват — подстрекает вопросами: Что же вы, мол, делаете в школе? Должно быть, боретесь с футуристами? А ему тот в ответ: Мы сами все футуристы. — О, вот как! Это занятие, нужное с вами поспорить... Пообещал прочитать. А студенты готовы просесть немедленно. У них и сомнений не будет «защищать старый хлам», уж он-то видит: футуристы первыми пошли за революцией, а не драпанули к Деникину, как некоторые обожатели «Евгения Онегина». Владимиру Ильичу смешно, а молодых «глашатаев» не остановить уж. С пафосом громоздят ступенчатые стихи, тащат многометровую стеногазету с лозунгом из Маяковского. «Мы разосники новой веры, красоте задающей железный тон...» — с нарочитой медлительностью разбирает слова Владимир Ильич, — чтобы природная хильми не свернулись скверны, в него шархаем железобетон». Гм-гм, «шархаем», да по-русски ли это? — По-русскому, — отзывается хор, — все рабочее, мол, так говорят.

Всерьез ли молодым художникам нравится Маяковский? — допытывается Владимир Ильич. — Конечно! — горой встают кругом. Поэта тут знают не только по стихам, он кровный брат всему ВХУТЕМАСу. Перед наркомом хлопотал о студенческих пайках, в военном ведомстве добивался разрешения о снабжении топливом, сам мастерил в училище эстраду и читал только что написанное... А знаком ли Владимир Ильич, спрашивает, с последними произведениями Маяковского, собираешься ли на «Мистерию-буфф»? Осведомленным тут он, признается, не считает себя, но постарается навестить. И пусть Надежда Константиновна не бросает скептических взглядов: давно, мол, собираешься. Только только вот заходил к нему заведующий Центрпечатью, и сговорено было: Ленин прослушает «Мистерию-буфф» Маяковского в чтении автора. Ободрено уже намерение показать представленные делегатам ближайшего конгресса Коминтерна. И горячность энтузиазма молодых художников, их безраздельное доверие к поэту не могут не тронуть, и растопит кое-каких ляднок предосторожности.

Быть МОЖЕТ, Владимир Ильич потепел бы еще более, знай он, хотя бы

в общих чертах, нескладную, но вполне закономерную для предреволюционного «паршивейшего времени» биографию таланта. Как «большой задира», движимый избытком ревинстинкта, отступил в футуризм. Какое «бурючие чудачество» учинили над ним облезлые на жизнь, но не лишнее меркантильские. — О, вот как! Это занятие, нужное с вами поспорить... Пообещал прочитать. А студенты готовы просесть немедленно. У них и сомнений не будет «защищать старый хлам», уж он-то видит: футуристы первыми пошли за революцией, а не драпанули к Деникину, как некоторые обожатели «Евгения Онегина». Владимиру Ильичу смешно, а молодых «глашатаев» не остановить уж. С пафосом громоздят ступенчатые стихи, тащат многометровую стеногазету с лозунгом из Маяковского. «Мы разосники новой веры, красоте задающей железный тон...» — с нарочитой медлительностью разбирает слова Владимир Ильич, — чтобы природная хильми не свернулись скверны, в него шархаем железобетон». Гм-гм, «шархаем», да по-русски ли это? — По-русскому, — отзывается хор, — все рабочее, мол, так говорят.

Если бы Владимир Ильич представил вьезд, какие голгофы аудиторий прошел от рождения этот поэтический талант, не осознавая отчетливо до поры, опирается ли он на посох новатор или орудет дубиной новизны, огульная буржуа, издаваясь над «епархальным антагонизмом между глухой буржуазной толпой и рвущимися к берегам будущего поэтическим голосом — до боли ломает этот голос, загоняет в зашифрованную образы и мысли. Как удобно было в такой атмосфере руками этого «полуувеликанца» наносить «попешные общественному вкусу», «сбрасывать с Парохода Современности» нечто весьма ценное из общего достояния. Но ни озлобленное шиканье толпы, ни гипнотический пошупчик не могут заглушить поднимающийся в душе поэта пафос социалиста, все острее осознаваемое чувство революционного протеста. Для истинно великого таланта углубленная работа и честное самовыражение — всегда путь к большой правде, к большому открытию. Владимир Ильич наглядно пояснил это обществу, разворачивая перед ним самую большую глагобу русской литературы. Со временем это можно было бы проследить и по поэтическим вершинам Маяковского.

НО СЛЕДУЮЩАЯ «встреча» с Маяковским, случившаяся вскоре, оставляет горький осадок. Месяца через два-три Владимир Ильич, к удивлению своему, обнаруживает неожиданный подарок — экземпляр поэмы «150 000 000» дарственной надписью: «Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом. Владимир Маяковский». Ниже, как соавторы, подписались Л. Брик, О. Брик, В. Кушнер, Б. Малкин, Д. Штернберг... На привычном месте автора — гриф: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». По-

имел успех... Нарком, конечно, задет, он готов каявственно восклицать, как в прошлом сентябре на сессии ВЦИК: «Да будет всем известно, что я никогда футуристом не был, не являюсь футуристом и не буду футуристом».

Оно, конечно, так, но не вы ли, добрейший Анатолий Васильевич, как заблудившая наследка, пригтели футуристов в наркомпросовском ИЗО? Не вы ли вскоре после революции, когда подыскивались надежные люди на ключевые позиции работы с интеллигенцией, без оглядки давали пламенные поручительства за этих «решительных модернистов» — помните? — «горячо рекомендую вам моего друга — преданного нашему общему делу — тов. Давида Петровича Штернберга, который с самого начала советской эры оказывает мне драгоценную помощь в качестве заведующего Отделом изобразительных искусств. Красиво сказано! А теперь Штернберг повернул «наше дело» к покровительству «комфутов» — уже под его крылом в ИЗО вся компания «соавторов» «150 000 000». Из-под его крыла выкрикивает «модерн» Ленин: «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы — как не мечтать об этом новому художнику, пролетарскому художнику, новому человеку». Не такими ли подхлестываниями загоняют в туник молодые таланты. Вот за это и «сечь» Луначарского.

Еще прошлой осенью на сессии ВЦИК во время доклада наркома просвещения Владимир Ильич помнил себе: «Худ. отдел (футуризм)». Теперь видит: позиция невместительства дорожно обходится. После фехтования записками с наркомом обратился без обиняков к заместителю:

«т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п.»

...Луначарский провел в коллегии (выш) печатание «150 000 000» Маяковского.

Нелья ли это пресечь? Надо это пресечь. Условным, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз...

Нелья ли найти надежных антифутуристов?

Найти антифутуристов... Печатать не более, чем нужно для библиотек и любителей. Владимир Ильич не посягает на чьи-то увлечения, пусть чудаческие, он не навязывает своих вкусов, да вовсе и не о вкусах затевает спор. Он защищает коммунистическое мировоззрение, которое зиждется на всем лучшем, что человечество выработало, он очерчивает партийную позицию в искусстве.

ТУТ НЕТ ни строго писанных правил, ни исчерпывающих тезисов, но своими взглядами и оценками Владимир Ильич не раз делился с ближайшими товарищами, с просвещенцами, с самим Луначарским, на встречах с писателями и художниками, особенно обширный вышел разговор за чашкой чая с Кларой Цеткин, когда она в свой первый приезд зашла вечером к «Ильичам».

Перво-наперво осознает свою ответственную роль при тектонических родах новой культуры в новом обществе. Революция развязывает все скованные до того силы и гонит их из глубин на поверхность жизни. Тут неизбежно и хаотическое брожение, и лихорадочные искания, и калейдоскопическое мелькание лозунгов... А наше место? Мы коммунисты. Мы не должны стоять сложа руки и давать хаосу развиваться куда кошель. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и сформировать его результаты. Предостерегать увлекующихся людей искусства от сектантства и кастовости, пустой расстраты сил и толкающей на ложные пути всякой политической ереси.

Сокрушительное столкновение «старого» и «нового» в мире искусства Владимиру Ильичу кажется совершенно неоправданным. Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него только на том основании, что оно «старое»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом... только потому, что «это новое»? Бесмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много дишмерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде... И как часто значительные люди, толковые революционеры вдруг теряют свое лицо, тысячу доказывая, что и они стоят «на высоте современной культуры». А вот он, Ленин, имеет смелость заявить себя «варваром». Он не в силах признать произведения экспрессионизма, футуризма, ку-

го, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство...

Когда Луначарский узнает содержание бесед Владимира Ильича с Кларой Цеткин, он скажет: я солидаризируюсь с этим, именно таким смыслом были наполнены и наши многократные углубленные беседы с Лениным об искусстве... Остается только предположить: часто встречавшийся с Луначарским Владимир Маяковский не мог не облучаться этим мощным кремлевским светом, прямо на него направленным; не мог не переоценить все, что им сделано, что вновь зарождалось.

И УЖ ДОПОЛНИМО известно: новост, которая пришла к Маяковскому поздним мартовским вечером 22-го года, жарко всколыхнула самые сильные его чувства. Друзья телефонировали: сегодня, выступая в Доме союзов перед делегатами съезда металлистов, Владимир Ильич обратился к твоим «Прозаседавшимся»... Конечно, поэт не мог усидеть дома, не мог дождаться утра, помчался по ночной Москве разувать досконально, по слову, по шпору, по шпору, как все было, что именно сказал Ильич?

Было все естественно, буднично, поделовому, пояснили ему. Владимир Ильич накануне прочитал в газете стихотворение, оно ему понравилось, показалось очень метким; и когда в докладе заговорил о болтыках аппарата, о неразберихе и бесплодности, вспомнил Маяковского... Я, говорит, не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта (и тут же скромно сослался на некомпетентность), но давно не получал такого удовольствия с точки зрения политической и административной... Пересказал делегатам, как поэт вдрюг раздал президентов и поиздевался над неумехами коммунистами. Не знаю, мол, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно...

Потом Владимир Владимирович обнаружил еще немаловажную деталь: Ленин решил улучшить, обогатить стихотворение — навел-таки мостик между классикой и «футуризмом». Обрисовал рабочий классический типаж Обломова — вот, говорит, любитель бесконечных мечтаний и планов. Три революции проспал, а теперь тут в комиссиях заседает... А что такое наши заседания и комиссии? Это очень чистая игра... Бюрократический Обломов, играющий в дела, — худший враг в нас самих. Обломова надо долой чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел.

...Ленин ругается за Маяковского «насчет политики». Вышней аттестат зрелости! И поэт не скрывает радости: если Ильич уже признает, что мое политическое направление правильно, выходит, что я делаю успехи в коммунизме. Это для нашего брата самое насущное, самое главное!

Будто только и ждал этого Ильичева одобрения заслоненный футуристом гений поэта... Он еще посягаете с собой, выптывает неумного комфута, но прямо с этого порога шагнет к великой поэзии, где шедрословие повенчается с простотой, правда жизни — со страстью борьбы; он шагнет в свою действительную «облискую осень» и, создавая с пушкинской легкостью революционные шедевры, о многих может сказать: «Считаю программной вещь».

«Делаю успехи в коммунизме...» Какое должно быть мощное чувство радости. И гордый вызов — не верите? Он распрямляется, как великан, решившийся на самое главное испытание. «Начал обдумывать поэму «Ленин». Он хочет жизнью Ильича, именем его сказать самое сокровенное о коммунизме.

Еще в пути 23-й год. Еще люди, перерчитывая бюллетени, говорят друг другу: мы надеемся. И Маяковский живет надеждой хотя бы самой краткой встречи с Ильичем. Но судьба разведаетки стрелки жизни. Поэт увидел воляж только лютым январем, в ошеломлении прохода через траурный зал. Он пересекал затем улицу, поднимался в редакцию «Рабочей газеты», отгоревал оконеченные руки, не отрываясь от замершего окна, и вновь уходил в самый конец очереди, чтобы опять влиться в реку сордин... Чтобы еще на минутку одив на одинокость с «огромной единственной правдой».

Когда пройдут через него тысячами токов выстраданные стихи о Ленине, он увидит сам, что родилась не просто лучшая поэма, родилось его сокровенное, ясное по духу ленинское слово о коммунизме. Здесь слитным стало сердцебиение Ленина и Маяковского.

Валентин ЧИНИН.